

А. В. Дружинин

«Обломов». Роман И.А. Гончарова Два тома

Санкт-Петербург, 1859

Английский писатель Льюиз, не тот Льюиз, который сочинил «Монаха», повергавшего в ужас наших бабушек, а Льюиз, сочинивший знаменитую биографию Гете, в одном из своих сочинений рассказывает анекдот, не лишенный занимательности. Героем анекдота был Томас Карлейль, современный нам историк и критик, большой любитель германской литературы и германской философии. Итак, вышепоименованный и довольно знаменитый у нас Томас Карлейль, находясь в Берлине, вскоре после смерти Гете присутствовал на обеде у какого-то профессора вместе с весьма смешанною публикою, между которой находились представители самых крайних партий в Пруссии. Пьетисты сидели рядом с демократами и новые феодалы новой прусской газеты, тогда еще не существовавшей, с защитниками единства Германии. При конце стола разговор коснулся недавно скончавшегося поэта и сделался всеобщим. Вы можете себе представить, что тени веймарского Юпитера досталось немалое количество порицаний. Один гость упрекал автора «Фауста» за то, что он, не пользуясь своим авторитетом, мало служил делу благочестия и морали; другой находил беззаконными два знаменитые стиха:

**Напрасно силитесь, германцы, составить из себя один народ;
Лучше бы каждый из вас свободно стремился к тому, чтоб
развиваться человеком.**

Находились лица, упрекавшие Гете в нечувствительности к политическим стремлениям современников, были даже чудачки, порицавшие его великое слово: *лишь в одном законе может существовать истинная свобода*. Беседа уже переходила в брань, а Карлейль все молчал и вертел в руках свою салфетку. Наконец он поглядел вокруг себя и сказал тихим голосом:

«Meine Herren* , слышали вы когда-нибудь про человека, который ругал солнце за то, что оно не хотело зажечь его сигарки?» Бомба, упавшая на стол, не могла поразить спорщиков более этой выходки. Все замолчали, и насмешливый англичанин остался победителем.

Анекдот, сейчас рассказанный нами, чрезвычайно хорош, и шутка Карлейля имела значение как противоречие крайностям других собеседников, хотя, по нашему мнению, мудрый поклонник Гете немного увлекся в своих выражениях. Таких важных сторон жизни, как национальные стремления, религиозные потребности, жажда политического развития, не совсем ловко сравнивать с дрянной немецкой сигаркою. Вседневные, насущные потребности общества законны как нельзя более, хотя из этого совершенно не следует, чтоб великий поэт был их прямым и непосредственным представителем. Сфера великого поэта иная — и вот почему никто не имеет права извлекать его из этой сферы. Прусак Штейн как министр был несравненно выше министра и тайного советника фон Гете, и всякая политическая параллель между этими двумя людьми невозможна. Но кто из самых предубежденных людей не сознается, что поэт Гете в самом практическом смысле слова оказался для человечества благодетельнее благодетельного и благородного Штейна. Миллионы людей в своем внутреннем мире были просветлены, развиты и направлены на добро поэзией Гете, миллионы людей были одолжены этой поэзии, этому истинному слову нашего века, полезнейшими и сладкими часами своей жизни. Миллионы отдельных нравственных хаосов сплотились в стройный мир через магические поучения поэта-философа, и его безмерное влияние на умы современников с годами отразится во всей жизни Германии, будет ли она единою или раздробленною Германиею. Вследствие всего сейчас сказанного выходка Карлейля совершенно справедлива, невзирая на ее грубость. Великий поэт есть всегда великий просветитель, и поэзия есть солнце нашего внутреннего мира, которое, по-

*Господа (нем.).

видимому, не делает никаких добрых дел, никому не дает ни гроша, а между тем живет своим светом всю вселенную.

Величие и значение истинной поэзии (хотя бы и не мировой, хотя бы и не великой) нигде не сказывается так ясно, так осязательно, как в литературе народов, еще молодых или только что пробуждающихся от долгого мысленного бездействия. В обществах созревших, много изведавших и во многом просветленных опытом долгих лет, жажда к поэтическому слову бывает сдержана в границах, нарушить которые может лишь влияние истинного гения или могучего провозвестника новых истин. В этих обществах и сильные таланты стареются, забываются потомством и переходят в достояние одних библиофилов; причина тому весьма понятна — ни звезд, ни луны не видать там, где светит солнце. Но в обществах юных мы видим совсем противоположное: там поэты долговечны, там таланту воздается все должное и весьма часто больше, чем должное. Поглядите, например, какую бесконечную, непрерывную популярность пользуются в Америке Лонгфелло, поэт весьма не громадного разбора, Вашингтон Ирвинг, писатель истинно поэтический, но никак не гениальный, господина Ситсфильда и Мельвилля, едва-едва известные европейскому читателю. Этих людей американец не только уважает, но обожает, их он наивно сравнивает с первыми гениями Англии, Германии и Италии. И гражданин Соединенных Штатов прав, и все молодое общество, в котором он родился, совершенно право в своей безмерной жажде ко всякому новому слову в деле родной поэзии. Люди, нами названные, не гении, все ими написанное — ничто перед одною из драм Шекспира, но они отвечают потребностям своей родины, они вносят свой, хотя бы и не сильный, свет в потемки внутреннего мира своих сограждан, они истолковывают слушателям своим поэзию и правду жизни, их охватывающей, и вот их лучшая слава, вот их постоянный диплом на долговечность!

Не то же ли видим мы и у нас в России. В нашей несложившейся, расплывшейся по журналам, подражательной и зараженной множеством пороков литературе ни одно произведение, отмеченное печатью настоящей поэзии, не пропадет и не пропадало.

У нас, при всей нашей ветрености, даже при временной моде вести родословную искусства со вчерашнего дня, все истинно поэтическое – и, стало быть, мудрое, – не стареет и кажется лишь вчера написанным. Пушкин, Гоголь и Кольцов, эта поэтическая триада, охватывающая собой поэзию самых разносторонних явлений русского общества, не только не поблекли для нашего времени, но живут и действуют со всей силою никогда не умирающего факта. Предположите на одну минуту (трудное предположение!), что наши мыслящие люди, вдруг, позабыли все, чему их научили три поэта, сейчас нами названные, и страшно вообразить себе, какой мрак будет неразлучен с таким забвением! Иначе и быть не может: недаром современное общество ценит поэтов и слова, произнесенные истинными поэтами, нашими просветителями. Сильный поэт есть постоянный просветитель своего края, просветитель тем более драгоценный, что он никогда не научит худому, никогда не даст нам правды, которая неполна и со временем может стать неправдою. В период тревожной практической деятельности, при столкновении научных и политических теорий, в эпохи сомнения или отрицания – важность и величие истинных поэтов возрастают наперекор всем кажущимся препятствиям. На них общество, в полном смысле слова, устремляет «свои полные ожидания очи», и устремляет их вовсе не потому, чтоб ждало от поэтов разгадки на свои сомнения или направления для своей практической деятельности. Общество вовсе не питает таких неисполнимых фантазий и никогда не даст поэту роли какого-нибудь законодателя в сфере своих обыденных интересов. Но оно даст ему веру и власть в делах своего внутреннего мира и не ошибается в своем доверии. После всякого истинно художественного создания оно чувствует, что получило урок, самый сладкий из уроков, урок в одно и то же время прочный и справедливый. Общество знает, хотя и смутно, что плоды такого урока не пропадут и не истлеют, но перейдут в его вечное и действительно потомственное достояние. Тут-то и заключается причина того, почему холодность к делу поэзии есть вещь ненормальная в развитом члене юного общества, а

жалкая идиосинкразия, нравственная болезнь, признак самый неутешительный. Когда человек, по-видимому, разумный, говорит во всеуслышание, что ему нет дела до созданий искусства и что ему в обществе нужны только звание и благосостояние, он или заблуждается печальным образом или прикрывает свою собственную идиосинкразию хитросплетенными фразами. Разве не сказал нам один из величайших германских мыслителей: «Искусство пересоздает человека и, воспитывая отдельные единицы, из которых состоит общество, представляет собою верный рычаг всех общественных усовершенствований. Оно освещает путь к знанию и благосостоянию, оно просветляет внутренний мир избранных личностей и, действуя на них, благодетельствует всему свету, который движется вперед лишь идеями и усилиями немногих избранных личностей». То, что верно относительно первых поэтов России, точно так же верно относительно их последователей. Ни один истинный талант у нас никогда не пропадал без внимания. Всякий человек, когда-либо написавший одну честную и поэтическую страницу, знает очень хорошо, что эта страница жива в памяти каждого развитого современника. Эта жадность к поэтическому слову, эта страстная встреча достойных созданий искусства у нас давно не новость, хотя о них еще никогда не было писано. Чем более молодое наше общество рвется к просвещению, тем горячее оно в своих отношениях к талантам. В настоящие года вся читающая Россия при всех своих деловых стремлениях, жаждет истинных созданий искусства, как нива в жаркий день жаждет живительной влаги. Как нива, она поглощает в себя каждую росинку, каждую каплю освежительного дождя, как бы ни непродолжителен был этот дождик. Общество смутно, очень смутно понимает, что внутренний мир человека, тот мир, на который действуют все истинные поэты и художники, есть основа всего в здешнем свете и что до той поры, пока наш собственный внутренний мир не будет смягчен и озарен просвещением, все наши стремления вперед будут не движением прогресса, а страдальческими движениями больного, без толку ворочающегося в своей постели. Таким-то образом масса

русских мыслящих людей инстинктивно угадывает ту истину, которой Гете и Шиллер так благотворно и так усердно служили в период своей дружбы и совокупной деятельности: «Bildet, ihr konnt es, dafiir freier zu Menscheri euch aus!»*. Извольте ж после этого говорить, что «в наше время движения изящная литература должна стоять на втором плане!».

Лучшим опровержением сейчас приведенного и все еще недостаточно осмеянного парадокса служит настоящий 1859 год и литературные дела настоящего года. Вначале его появилось в наших журналах несколько замечательных произведений, конечно, не шекспировских и даже не пушкинских, но произведений честных и поэтических. Во всей Европе, где никогда и никто не отодвигал на задний план созданий искусства, эти произведения имели бы почетный, спокойный успех, очень завидный, но не поразительный и не шумливый. У нас же, вследствие сейчас сказанного парадокса, им бы следовало тотчас же отойти на второй план и развлекать собой досуги барышень или праздного люда, но то ли вышло. Успех «Дворянского гнезда» оказался таким, какого мы за много лет не упомним. Небольшим романом г. Тургенева зачитывались до исступления, он проник повсюду и сделался таким популярным, что не читать «Дворянского гнезда» было непозволительным делом. Его ждали несколько месяцев и кинулись на него, как на давно ожидаемое сокровище. Но, положим, «Дворянское гнездо» появилось в январе месяце, месяце новостей, толков и так далее, роман вышел в свет во всей целости, при всех наиболее благоприятнейших условиях для его оценки. Но вот «Обломов» г. Гончарова. Трудно пересчитать все шансы, собранные против этого художественного создания. Оно печаталось помесечно, стало быть, перерывалось три или четыре раза. Первая часть, всегда так важная, особенно важная при печатании романа в раздробленном виде, была слабее всех остальных частей. В этой первой части автор согрешил тем, чего, по-видимому, никогда не

* «Лучше свободно развивайтесь людьми – это в ваших возможностях» (нем.).

прощает читатель, — бедностью действия; все прочли первую часть, заметили ее слабую сторону, а между тем, продолжение романа, так богатое жизнью и так мастерски построенное, еще лежало в типографии! Люди, знавшие весь роман, восхищенные им до глубины души, в течение долгих дней трепетали за г. Гончарова; что же должен был перечувствовать сам автор, пока решилась судьба книги, которую он более десяти лет носил в своем сердце. Но опасения были напрасны. Жажда света и поэзии взяла свое в молодом читающем мире. Наперекор всем препятствиям «Обломов» победоносно захватил собою все страсти, все внимание, все помыслы читателей. В каких-то пароксизмах наслаждения все грамотные люди прочли «Обломова». Толпы людей, как будто чего-то ждавших, шумно кинулись к «Обломову». Без всякого преувеличения можно сказать, что в настоящую минуту во всей России нет ни одного малейшего, безуездного, заштатнейшего города, где бы не читали «Обломова», не хвалили «Обломова», не спорили об «Обломове». Почти в одно время с романом г. Гончарова в Англии появился «Адам Бид», роман Эллиота, человека тоже высоко талантливого, энергического и предназначенного на великую роль в литературе, да сверх всего человека совсем нового. «Адам Бид» имел огромный успех, но сравните этот спокойный, магистральный успех с восторгами, произведенными «Обломовым», и вы не пожалеете о доле русских писателей. Даже в материальных выгодах успеха г. Гончаров чуть ли не опередил счастливого англичанина. Если все это значит «отодвигать искусство на задний план» — то дай Бог, чтобы русское искусство и русские поэты подолее оставались на таком для них выгодном заднем плане!

Постараемся же, по мере сил наших, разъяснить до некоторой степени причину необыкновенного успеха «Обломова». Труд наш не будет трудом очень тяжелым — роман так известен всякому, что анализировать его и знакомить читателя с его содержанием — дело совершенно бесполезное. Об особенностях г. Гончарова, как писателя с высоким поэтическим значением, мы тоже говорить многого не в состоянии — наш взгляд на него

уже высказан нами года четыре тому назад, в «Современнике», по поводу книги нашего автора «Русские в Японии». Рецензия, о которой мы упоминаем, в свое время возбудила сочувствие знатоков русской литературы и до сих пор еще не устарела, по крайней мере мы, и весьма недавно, встречали из нее не один отрывок в позднейших отзывах о трудах Гончарова.

В писателе, подарившем нашей словесности «Обыкновенную историю» и «Обломова», мы всегда видели и видим теперь одного из сильнейших современных русских художников — с таким суждением, без сомнения, согласится всякий человек, умеющий с толком читать по-русски. Об особенностях гончаровского дарования тоже больших споров быть не может. Автор «Обломова», вместе с другими первоклассными представителями родного искусства, — есть художник чистый и независимый, художник по призванию и по всей целости того, что им сделано. Он реалист, но его реализм постоянно согрет глубокой поэзией; по своей наблюдательности и манере творчества — он достоин быть представителем самой натуральной школы, между тем как его литературное воспитание и влияние, поэзии Пушкина, любимейшего из его учителей, навеки отдалают от г. Гончарова самую возможность *бесплодной* и сухой натуральности; В нашей рецензии, о которой упоминалось выше, мы проводили подробную параллель между талантом Гончарова и талантами первоклассных живописцев фламандской школы, параллель, как нам и теперь кажется, дает верный ключ к уразумению заслуг, достоинств и даже недостатков нашего автора. Подобно фламандцам, г. Гончаров национален. неотступен в раз принятой задаче и поэтичен в малейших подробностях создания. Подобно им, он крепко держится за окружающую его действительность, твердо веруя, что нет в мире предмета, который не мог бы быть возведен в поэтическое представление силой труда и дарования. Как художник-фламандец, г. Гончаров не путается в системах и не рвется в области ему чуждые. Как Доу, Ван дер Нээр и Остад, он знает, что ему незачем ходить далеко за предметами творчества. Простой и даже как будто скупой на вымысел, подобно трем сейчас нами

названным великим людям, г. Гончаров, подобно им, не выдает всей своей глубины поверхностному наблюдателю. Но, подобно им, он является глубже и глубже с каждым внимательным взглядом, подобно им, он ставит перед нашими глазами целую жизнь данной сферы, данной эпохи и данного общества, — для того, чтоб, подобно им же, навсегда остаться в истории искусства и освещать ярким светом моменты действительности, им уловленной.

Несмотря на некоторые несовершенства выполнения, о которых мы будем говорить ниже, невзирая на видимое всем несогласие первой части романа со всеми последующими, лицо Ильи Ильича Обломова вместе с миром его окружающим как нельзя более подтверждает собой все нами сейчас сказанное о даровании г. Гончарова. Обломов и обломовщина: эти слова не даром облетели всю Россию и сделались словами, навсегда укоренившимися в нашей речи. Они разъяснили нам целый круг явлений современного нам общества, они поставили перед нами целый мир идей, образов и подробностей, еще недавно нами не вполне сознанных, являвшихся нам как будто в тумане. Силой своего труда человек с глубоким поэтическим дарованием сделал для известного отдела нашей современной жизни то, что сделали родственные ему фламандцы со многими сторонами своей родной действительности. Обломова изучил и узнал целый народ, по преимуществу богатый обломовщиной, — и мало того, что узнал, но полюбил его всем сердцем, потому что невозможно узнать Обломова и не полюбить его глубоко. Напрасно до сей поры многие нежные дамы смотрят на Илью Ильича как на существо достойное посмеяния. напрасно многие люди с чересчур практическими стремлениями, усиливаются презирать Обломова и даже звать его улиткою: весь этот строгий суд над героем показывает одну, поверхностную и быстропреходящую придирчивость. Обломов любезен всем нам и стоит беспредельной любви — это факт, и против него спорить невозможно. Сам его творец беспредельно предан Обломову, и в этом вся причина глубины его создания. Обвинить Обломова за его обломовские качества не значит ли то же, что

сердиться на то, зачем добрые и пухлые лица фламандских бургомистров на фламандских картинах не украшены черными глазами неаполитанских рыбаков или римлян из Транстевере? Метать громы на общество, рождающее Обломовых, по нашему мнению то же самое, что сердиться за недостаток снеговых гор в картинах Рюйздаля. Разве мы не видим с разительной ясностью, что в этом деле вся сила поэта порождена его твердым, неуклонным отношением к действительности, помимо всех прикрас и сентиментальностей. Крепко держась за действительность и разрабатывая ее до глубины еще никем неизведанной, творец «Обломова» и добился до всего, что истинно, поэтично и вековечно в его создании. Скажем более, через свой фламандский, неотступный труд он дал нам ту любовь к своему герою, про которую мы говорили и говорить будем. Не спустился г. Гончаров так глубоко в недра обломовщины, та же обломовщина, в ее неполной разработке, могла бы нам показаться грустною, бедною, жалкою, достойною пустого смеха. Теперь над обломовщиной можно смеяться, но смех этот полон чистой любви и честных слез, — о ее жертвах можно жалеть, но такое сожаление будет поэтическим и светлым, ни для кого не унижительным, но для многих высоким и мудрым сожалением.

Новый роман г. Гончарова, как это известно всякому, кто прочел его в «Отечественных записках», распадается на два неровные отдела. Под первую часть его, если не ошибаемся, подписан 1849 год, под остальными тремя 1857 и 58. Итак, почти десять лет отделяют первоначальный, многотрудный и еще не вполне выискавшийся замысел от его зрелого осуществления. Между Обломовым, который безжалостно мучит своего Захара, и Обломовым, влюбленным в Ольгу, может, лежит целая пропасть, которой никто не в силах уничтожить. Насколько Илья Ильич, валяющийся на диване между Алексеевым и Тарантьевым, кажется нам заплесневшим и почти гадким, настолько тот же Илья Ильич, сам разрушающий любовь избранной им женщины и плачущий над обломками своего счастья, глубок, трогателен и симпатичен в своем грустном комизме. Черты, лежащие между этими двумя героями, наш

автор не был в силах сгладить. Все его старания в этой части пропали даром – как все художники по натуре, наш автор бессилен везде, где требуется *деланная работа*: то есть сглаживания, притягивания, объяснения, одним словом, то, что легко дается талантам обыкновенным. Поработав и тяжело поработав над невозможною задачею, г. Гончаров наконец убедился, что ему не сгладить черты, нами указанной, не загрузить пропасти, лежащей между двумя Обломовыми. На пропасти этой лежала одна *planche de salut**, одна переходная доска: неподражаемый Сон Обломова. Все усилия прибавить к ней что-нибудь оказались тщетными, пропасть оставалась прежней пропастью. Убедясь в этом, автор романа махнул рукой и подписал под первую часть романа все объясняющую цифру 49 года. Этим он высказал свое положение и откровенно отдавал себя как художника на суд публики. Успех «Обломова» был ему ответом – читатель прощал несовершенства частные за наслаждения, доставленные ему целым творением. Не будем же и мы чрезмерно взыскательными, а лучше воспользуемся распадением романа на две части, чтобы по обеим проследить любопытный процесс творчества, выданный нам по поводу самого Обломова и обломовщины, его окружающей.

Нет никакого сомнения в том, что первые отношения поэта к могущественному типу, завладевшему всеми его помыслами, были вначале далеко не дружественными отношениями. Не ласку и не любовь встретил Илья Ильич, еще не созрелый, еще не живой Илья Ильич, в душе своего художника. Время перед 1849 годом не было временем поэтической независимости и беспристрастия во взглядах; при всей самостоятельности г. Гончарова он все же был писателем и сыном своего времени. Обломов жил в нем, занимал его мысли, но еще являлся своему поэту в виде явления отрицательного, достойного казни и по временам почти ненавистного. Во всех первых главах романа, до самого «Сна», г. Гончаров откровенно выводит перед нами того героя, который ему сказывался прежде, того Илью

* букв.: доска спасения (фр.).

Ильича, который представлялся ему как уродливое явление уродливой русской жизни. Этот Обломов embryo* достаточно обработан, достаточно объективен для того, чтоб действовать на два или на три тома, достаточно верен для того, чтоб осветить собою многие темные стороны современного общества, но, боже мой, как далек от теперешнего, сердцу милого Обломова, этот засаленный, нескладный кусок мяса, носящий тоже имя Обломова в первых главах романа! Каким эгоизмом безобразного холостяка пропитано это существо, как оно мучит всех его окружающих, как оскорбительно-равнодушно оно ко всему унижительному, как лениво-враждебно к тому, что только выходит из его узенькой сферы. Злая и противная сторона обломовщины исчерпана вся, но где же ее впоследствии проявившаяся поэзия, где ее комическая грация, где ее откровенное сознание своих слабостей, где ее примиряющая сторона, успокаивающая сердце и, так сказать, узаконяющая незаконное? В 1849 году при дидактических стремлениях словесности и при крайне стесненной возможности проявлять эти стремления Обломов embryo мог бы восхитить собой читателя и ценителя. Какие громы метались бы на него критиками, какие сумрачные толки раздались бы о среде, рождающей Обломовых! Г. Гончаров мог бы явиться обличителем тяжких недугов общественных ко всеобщему удовольствию и даже к небольшой пользе людей, стремящихся полиберальничать, не подвергаясь большой опасности, и показать кукиш обществу в надежде на то, что кукиш этот именно не будет примечен теми, кто не любит показанных кукишей. Но подобного успеха нашему автору было бы слишком мало. Отталкивающий и непросветленный поэзией, Обломов не удовлетворял идеалу, столько времени им носимому в сердце. Голос поэзии говорил ему: иди дальше и ищи глубже. «Сон Обломова»! — этот великолепнейший эпизод, который останется в нашей словесности на вечные времена, был первым, могущественным шагом к уяснению Обломова с его обломовщиной. Романист, жаждущий разгадки вопросам,

*правильно: embryo — в зачаточном состоянии, в зародыше (англ.).

занесенным в его душу его же созданием, потребовал ответа на эти вопросы; за ответами обратился он к тому источнику, к которому ни один человек с истинным дарованием не обращается напрасно. Ему надобно было наконец узнать, из-за какой же причины Обломов владеет его помыслами, отчего ему мил Обломов, из-за чего он недоволен первоначальным объективно верным, но неполным, не высказывающим его помыслов Обломовым. Конечного слова на свои колебания г. Гончаров стал выпрашивать у поэзии русской жизни, у своих воспоминаний детства и, разъясняя прошлую жизнь своего героя, со всей свободой погрузился в ту сферу, которая ее окружала. Следом за Пушкиным, своим учителем, по примеру Гоголя, своего старшего товарища, он ласково отнесся к жизни действительной и отнесся не напрасно. «Сон Обломова» не только осветил, уяснил и разумно опозитизировал все лицо героя, но еще тысячью невидимых скреп связал его с сердцем каждого русского читателя. В этом отношении «Сон», сам по себе разительный как отдельное художественное создание, еще более поражает своим значением во всем романе. Глубокий по чувству, его внушившему, светлый по смыслу, в нем заключенному, он в одно время и поясняет и просветляет собою то типическое лицо, в котором сосредоточивается интерес всего произведения. Обломов без своего «Сна» был бы созданием неоконченным, не родным всякому из нас, как теперь, — «Сон» его разъясняет все наши недоумения и, не давая нам ни одного голого толкования, повелевает нам понимать и любить Обломова. Нужно ли говорить о чудесах тонкой поэзии, о лучезарном свете правды, с помощью которых происходит это сближение между героем и его ценителями. Тут нет ничего лишнего, тут не найдете вы неясной черты или слова, сказанного попусту, все мелочи обстановки необходимы, все законны и прекрасны. Онисим Суслов, на крыльцо которого можно было попасть не иначе, как ухватясь одной рукой за траву, а другою за кровлю избы, — любезен нам и необходим в этом деле уяснения. Заспанный челядинец, дующий спросонья на квас, в котором сильно шевелятся утопающие мухи, и собака, признанная бешеною за то

только, что бросилась бежать от людей, собравшихся на нее с вилами и топорами, и няня, засыпающая после жирного обеда с предчувствием, что Ильюша пойдет затрагивать козла и лазить на галерею, и сотня других обворожительных, миерисовских подробностей здесь необходимы, ибо содействуют целостности и высокой поэзии главной задачи. Тут сродство г. Гончарова с фламандскими мастерами бьет в глаза, сказывается во всяком образе. Или для праздной потехи всякие художники, нами вспомнутые, громоздили на свое полотно множество мелких деталей? Или по бедности воображения они тратили жар целого творческого часа над какой-нибудь травкою, луковицей, болотной кочкой, — на которую падает луч заката, кружевным воротничком на камзоле тучного бургомистра? Если так, то отчего же они велики, почему они поэтичны, почему детали их созданий слиты с целостью впечатления, не могут быть оторваны от идеи картины? Как же произошло, что эти истинные художники, так зоркие на поэзию, до такой степени осветившие, опозитизировавшие жизнь своего родного края, бросались в мелочи, сидели над подробностями? Видно, в названных нами мелочах и подробностях таилось нечто большее, чем о том думает иной близорукий составитель хитрых теорий. Видно, труд над деталями был необходим и важен для уловлений тех высших задач искусства, на которых все зиждется, от которых все питается и вырастает. Видно, творя малую частность, художник недаром отдавался ей всей душою своею, и, должно быть, творческий дух его отражался во всякой подробности мощного произведения, так, как солнце отражается в малой капле воды — по словам оды, которую мы учили наизусть еще ребятишками.

Итак, «Сон Обломова» расширил, узаконил и уяснил собою многозначительный тип героя, но этого еще не было достаточно для полноты создания. Новым и последним, решительным шагом в процессе творчества было создание Ольги Ильинской — создание до того счастливое, что мы, не обинуясь, назовем первую мысль о нем краеугольным камнем всей обломовской драмы, самой счастливой мыслью во всей артисти-

ческой деятельности нашего автора. Даже оставивши в стороне всю прелесть исполнения, всю художественность, с которой обработано лицо Ольги, мы не найдем достаточных слов, чтоб высказать все благотворное влияние этого персонажа на ход романа и развитие типа Обломова. Несколько лет тому назад, давая отчет о «Рудине» г. Тургенева, мы имели случай заметить, что типы в роде Рудина не поясняются любовью, — теперь приходится перевернуть нашу сентенцию и объявить, что Обломовы выдают всю прелесть, всю слабость и весь грустный комизм своей натуры именно через любовь к женщине. Без Ольги Ильинской и без ее драмы с Обломовым не узнать бы нам Ильи Ильича так, как мы его теперь знаем, без Ольгина взгляда на героя мы до сих пор не глядели бы на него надлежащим образом. В сближении этих двух основных лиц произведения все в высшей степени естественно, каждая подробность удовлетворяет взыскательнейшим требованиям искусства — и между тем сколько психологической глубины и мудрости через него развивается перед нами! Как живет и наполняет все наши представления об Обломове эта юная, горделиво-смелая девушка, как сочувствуем мы стремлению всего ее существа к этому незлобивому чудаку, отделившемуся от окружающего его мира, как страдаем мы ее страданием, как надеемся мы ее надеждами, даже зная и хорошо зная их несбыточность. Г. Гончаров, как смелый знаток сердца человеческого, с первых сцен между Ольгой и ее первым избранником, отдал большую долю интриги комическому элементу. Его бесподобная, насмешливая, бойкая Ольга с первых минут сближения видит все смешные особенности героя, не обманываясь нисколько, играет ими, почти наслаждается ими и обманывается только в своих расчетах на твердые основы характера Обломова. Все это поразительно верно и вместе с тем смело, потому что до сих пор никто еще из поэтов не останавливался на великом значении нежно-комической стороны в любовных делах, между тем как эта сторона всегда существовала, вечно существует и выказывает себя в большей части наших сердечных привязанностей. Много раз в течение последних месяцев нам случалось слы-

шать и даже читать выражения недоумения о том, «как могла умная и зоркая Ольга полюбить человека, неспособного переменить квартиру и с наслаждением спящего после обеда», — и, сколько мы можем припомнить, все подобные выражения принадлежали лицам очень молодым, очень незнакомым с жизнью. Духовный антагонизм Ольги с обломовщиной, ее шутовское, затрогивающее отношение к слабостям избранника объясняется и фактами и существом дела. Факты сложились весьма естественно — девушка, по натуре своей не увлекающаяся мишурой и пустыми светскими юношами своего круга, заинтересована чудачком, о котором умный Штольц рассказал ей столько историй, любопытных и смешных, необыкновенных и забавных. Она сближается с ним из любопытства, нравится ему от нечего делать, может быть вследствие невинного кокетства, а затем останавливается в изумлении перед чудом, ею сделанным.

Мы уже сказали, что нежная, любящая натура Обломовых вся озаряется через любовь — и может ли быть иначе с чистою, детски ласковой русской душою, от которой даже ее леность отгоняла растление с искушающими помыслами. Илья Ильич высказался вполне через любовь свою, и Ольга, зоркая девушка, не осталась слепа перед теми сокровищами, что перед ней открылись. Вот факты внешние, а от них лишь один шаг до самой существенной истины романа. Ольга поняла Обломова ближе, чем понял его Штольц, ближе, чем все лица, ему преданные. Она разглядела в нем и нежность врожденную, и чистоту нрава, и русскую незлобивость, и рыцарскую способность к преданности, и решительную неспособность на какое-нибудь нечистое дело, и наконец — чего забывать не должно — разглядела в нем человека оригинального, забавного, но чистого и нисколько не презренного в своей оригинальности. Раз ставши на эту точку, художник дошел до такой занимательности действия, до такой прелести во всем ходе событий, что неудавшаяся, печально кончившаяся любовь Ольги и Обломова стала и навсегда останется одним из обворожительнейших эпизодов во всей русской литературе. Кто из стариков не зачитывался этих

страниц, кто из восприимчивых юношей при чтении их не чувствовал горячих слез на своих глазах? И какими простыми, часто какими комическими средствами достигнут такой небывалый результат! Какой страх, соединенный с улыбкою, возбуждают в нас эти бесконечно разнообразные проявления обломовщины в борьбе с истинной, деятельной жизнью сердца! Мы знаем, что время обновления упущено, что не Ольге дано поднять Обломова, а между тем, при всякой коллизии в их драме сердце наше, замирает от неизвестности. Чего мы не перечувствовали при всех перипетиях этой страсти, начиная хоть от той минуты, когда Илья Ильич, глядя на Ольгу так, как глядит на нее нянька Кузьминишна, важно толкует о том, что нехорошо и опасно видаться наедине, до его страшного, последнего свидания с девушкой и до ее последних слов: «Что сгубило тебя, нет имени этому злу!» Чего только нет в этом промежутке, в этой борьбе света и тени, отдающей нам всего Обломова и сближающей его с нами так, что мы мучимся за него, когда он, охая и сучая, пробирается в оперу с Выборгской стороны, и озаряемся радостью в те минуты, когда в его обломовском, запыленном гнезде, при отчаянном лае скачущей на цепи собаки, вдруг является неожиданное видение доброго ангела. Перед сколькими частностями означенного эпизода добродушнейший смех овладевает нами, и овладевает затем, чтоб тотчас же смениться ожиданием, грустью, волнением, горьким соболезованием к слабому! Вот к чему ведет нас ряд художественных деталей, начавшийся еще со сна Обломова. Вот где является истинный смех сквозь слезы — тот смех, который стал было нам ненавистен — так часто им прикрывались скандалезные стихотворцы и биографы нетрезвых взяточников! Выражение, так безжалостно опозоренное бездарными писателями, вновь получило для нас свою силу: могущество истинной, живой поэзии снова воротило к нему наше сочувствие.

Создание Ольги так полно — и задача, ею выполненная в романе, выполнена так богато, что дальнейшее пояснение типа Обломова через другие персонажи становится роскошью, иногда ненужною. Одним из представителей этой излишней

роскоши является нам Штольц, которым, как кажется, недовольны многие из почитателей г. Гончарова. Для нас совершенно ясно, что это лицо было задумано и обдуманно прежде Ольги, что на его долю, в прежней идее автора, падал великий труд уяснения Обломова и обломовщины путем всем понятного противопоставления двух героев. Но Ольга взяла все дело в свои руки, к истинному счастью автора и к славе его произведения. Андрей Штольц исчез перед нею, как исчезает хороший, но обыкновенный муж перед своей блистательно одаренною супругою. Роль его стала незначительною, вовсе несоразмерною с трудом и обширностью подготовки, как роль актера, целый год готовившегося играть Гамлета и выступившего перед публикой в роли Лаэрта. Глядя на дело с этой точки зрения, мы готовы осудить слишком частое появление Штольца, очень же осуждать его как живое лицо мы неспособны точно так же, как осуждать Лаэрта за то, что он не Гамлет. Мы не видим в Штольце ровно ничего несимпатического, а в создании его ничего резко несовместного с законами искусства: это человек обыкновенный и не метящий в необыкновенные люди, лицо, вовсе не возводимое романистом в идеал нашего времени, персонаж, обрисованный с излишнею копотливостью, которая все-таки не дает нам должной полноты впечатления. Весьма подробно и поэтично описывая нам детство Штольца, г. Гончаров так охлаждается к периоду его зрелости, что даже не сообщает нам, какими именно предприятиями занимается Штольц, и эта странная ошибка неприятно действует на читателя, с детства своего привыкшего глядеть неласково на всякого афериста, которого деловые занятия покрыты мраком неизвестности. Если б в Штольце предстояла великая необходимость, если б только через него тип Обломова был способен к должному уяснению, мы не сомневаемся, что наш художник, при своей силе и зоркости, не отступил бы перед раз заданной темой, но мы сказали уже, что создание Ольги далеко оттеснило Штольца и его значение в романе. Уяснение через резкую противоположность двух несходных мужских характеров стало ненужным: сухой неблагоприятный контраст заменился драмой,

полною любви, слез, смеха и жалости. За Штольцом осталось только некоторое участие в механическом ходе всей интриги, да еще его беспредельная любовь к особе Обломова, в какой, впрочем, у него много соперников.

И в самом деле, окиньте весь роман внимательным взглядом, и вы увидите, как много в нем лиц, преданных Илье Ильичу и даже обожающих его, этого кроткого голубя, по выражению Ольги. И Захар, и Анисья, и Штольц, и Ольга, и вялый Алексеев – все привлечены прелестью этой чистой и цельной натуры, перед которою один только Тарантьев может стоять, не улыбаясь и не чувствуя на душе теплоты, не подшучивая над ней и не желая ее приголубить. Зато Тарантьев мерзавец, мазурик; ком грязи, скверный булыжник сидит у него в груди вместо сердца, и Тарантьева мы ненавидим, так что, явись он живой перед нами, мы бы почли за наслаждение побить его собственноручно. Зато холод проникает нас до костей и гроза поднимается в нашей душе в ту минуту, когда после описания беседы Обломова с Ольгрй, после седьмого неба поэзии, мы узнаем, что в креслах Ильи Ильича сидит и ждет его прихода Тарантьев. К счастью, в свете немного Тарантьевых и в романе есть кому любить Обломова. Всякий почти из действующих лиц любит его по-своему, а эта любовь так проста, так необходимо вытекает из сущности дела, так чужда всякого расчета или авторской натяжки! Но ничье обожание (даже считая тут чувства Ольги в лучшую пору ее увлечения) не трогает нас так, как любовь Агафьи Матвеевны к Обломову, той самой Агафьи Матвеевны Пшеницыной, которая с первого своего появления показалась нам злым ангелом Ильи Ильича, – и увы! действительно сделалась его злым ангелом. Агафья Матвеевна, тихая, преданная, всякую минуту готовая умереть за нашего друга, действительно загубила его вконец, навалила гробовой камень над всеми его стремлениями, ввергнула его в зияющую пучину на миг оставленной обломовщины, но этой женщине все будет прощено за то, что она много любила. Страницы, в которых является нам Агафья Матвеевна, с самой первой застенчивой своей беседы с Обломовым, верх совершенства в художест-

венном отношении, но наш автор, заключая повесть, переступил все грани своей обычной художественности и дал нам такие строки, от которых сердце разрывается, слезы льются на книгу и душа зоркого читателя улетает в область тихой поэзии, что до сих пор, из всех русских людей, быть творцом в этой области было дано одному Пушкину. Скорбь Агафьи Матвеевны о покойном Обломове, ее отношения к семейству и Андриюше, наконец этот дивный анализ ее души и ее прошлой страсти – все это выше самой восторженной оценки. Тут в рецензии нужно одно какое-нибудь короткое слово, одно восклицание сочувствия – да, может быть, выписка разительнейших строк отрывка, выписка, годная на случай, если б читатель пожелал освежить воспоминание обо всем эпизоде, не отмечивая книги и не теряя минуты на переворачивание ее листов.

«Вот она в темном платье, в черном шерстяном платке на шее, ходит из комнаты в кухню, по-прежнему отворяет и за-творяет шкафы, шьет, гладит кружева, но тихо, без энергии, говорит будто нехотя, тихим голосом, и не по-прежнему смотрит вокруг беспечно перебегающими с предмета на предмет глазами, а с сосредоточенным выражением, с затаившимся внутренним смыслом в глазах. Мысль эта села невидимо на ее лицо, кажется, в то мгновение, когда она сознательно и долго всматривалась в мертвое лицо своего мужа, и с тех пор не покидала ее. Она двигалась по дому, делала руками все, что было нужно, но мысль ее не участвовала тут. Над трупом мужа, с потерей его, она, кажется, вдруг уразумела свою жизнь и задумалась над ее значением, и эта задумчивость навсегда легла тенью на ее лицо. Выплавав потом живое горе, она сосредоточилась на сознании о потере: все прочее умерло для нее, кроме маленького Андриюши. Только когда видела она его, в ней будто пробуждались признаки жизни, черты лица оживали, глаза наполнялись радостным светом и потом заливались слезами воспоминаний. Она была чужда всего окружающего: рассердится ли братец за напрасно истраченный рубль, за подгорелое жаркое, за несвежую рыбу, надуется ли невестка за мягко

накрахмаленные юбки, за некрепкий и холодный чай, нагрубит ли толстая кухарка, Агафья Матвеевна не замечает ничего, как будто не о ней речь, не слышит даже язвительного шепота: «Барыня! помещица!» Она на все отвечает достоинством своей скорби и покорным молчанием. Напротив, в святки, в светлый день, в веселые вечера масленицы, когда все ликует, поет, ест и пьет в доме, она вдруг, среди общего веселья, зальется горькими слезами и спрячется в свой угол. Потом опять сосредоточится и иногда даже смотрит на брата и на жену его как будто с гордостью, с сожалением. Она поняла, что проиграла и просияла ее жизнь, что Бог вложил в ее жизнь душу — и вынул опять; что засветило в ней солнце и померкло навсегда... Навсегда, правда; но зато навсегда осмыслилась и жизнь ее; теперь уж она знала, зачем она жила и что жила не напрасно.

Она так полно и много любила: любила Обломова — как любовника, как мужа и как барина; только рассказать никогда она этого, как прежде, не могла никому. Да никто и не понял бы ее вокруг. Где бы она нашла язык. В лексиконе брата, Тарантьева, невестки не было таких слов, потому что не было понятий; только Илья Ильич понял бы ее, но она ему никогда не высказывала, потому что не понимала тогда сама и не умела.... На всю жизнь ее разлились лучи, тихий свет от пролетевших, как одно мгновение, семи лет, и нечего было ей ждать больше, некуда идти...»

После всего нами сказанного и выписанного, может быть, иной скептический читатель спросит нас: «Да за что же наконец Обломов так любим лицами его окружающими — и еще более, за что именно он любезен читателю? Если для возбуждения выражений и дел преданности достаточно есть и валяться по диванам, не делать никакого зла и сознаваться в своей житейской неспособности, да сверх всего этого иметь несколько комических сторон в своем характере, то значительная масса рода человеческого имеет право на нашу возможную привязанность! Если Обломов действительно добр как голубь, то почему же автор не выразил перед нами практических прояв-

лений этой доброты, если герой честен и неспособен на зло, то почему же эти почтенные стороны его натуры не выставлены перед нами осязательным образом? Обломовщина, как ни тяготей она над человеком, не может же вывести его из круга той вседневной, мелкой, насущной деятельности, которой, как всякий знает, всегда достаточно для выражения привлекательных сторон нашей натуры. Отчего же все подобные выражения натуры у Обломова исключительно пассивны и отрицательны? Отчего, наконец, он не совершает перед нами даже самого малого дела любви и кротости, хотя бы дела, которое может быть покончено без разлуки с халатом, — почему он не скажет приветного и задушевного слова хоть одному из второстепенных лиц, стоящих около него, хотя бы в награду за всю их преданность?» В таком замечании читателя отыскивается своя доля правды. Обломов, лучшее и сильнейшее создание нашего блистательного романиста, не принадлежит к числу типов, «к которым невозможно добавить ни одной лишней черты» — над этим типом невольно задумываешься, дополнений к нему невольно жаждешь, но дополнения эти сами приходят на мысль, и автор со своей стороны сделал почти все нужное для того, чтобы они приходили.

Германский писатель Риль сказал где-то: горе тому политическому обществу, где нет и не может быть честных консерваторов; подражая этому афоризму, мы скажем: нехорошо той земле, где нет добрых и неспособных на зло чудаков в роде Обломова! Обломовщина, так полно обрисованная г. Гончаровым, захватывает собою огромное количество сторон русской жизни, но из того, что она развилась и живет у нас с необыкновенной силою, еще не следует думать, чтоб обломовщина принадлежала одной России. Когда роман, нами разбираемый, будет переведен на иностранные языки, успех его покажет, до какой степени общи и всемирны типы, его наполняющие. По лицу всего света рассеяны многочисленные братья Ильи Ильича, то есть люди, не подготовленные к практической жизни, мирно укрывшиеся от столкновений с нею и не кидающие своей нравственной дремоты за мир волнений, к которым они

не способны. Такие люди иногда смешны, иногда вредны, но очень часто симпатичны и даже разумны. Обломовщина относительно всedневной жизни то же, что, относительно политической жизни, консерватизм, упомянутый Рилем: она, в слишком обширном развитии, вещь нестерпимая, но к свободному и умеренному ее проявлению не за что относиться с враждою. Обломовщина гадка, ежели она происходит от гнилости, безнадёжности, растрения и злого упорства, но ежели корень ее таится просто в незрелости общества и скептическом колебании чистых душою людей пред практической безурядицей, что бывает во всех молодых странах, то злиться на нее значит то же, что злиться на ребенка, у которого слипаются глазки посреди вечерней крикливой беседы людей взрослых. Русская обломовщина так, как она уловлена г. Гончаровым, во многом возбуждает наше негодование, но мы не признаем ее плодом гнилости или растрения. В том-то и заслуга романиста, что он крепко сцепил все корни обломовщины с почвой народной жизни и поэзии — проявил нам ее мирные и незлобные стороны, не скрыв ни одного из ее недостатков. Обломов — ребенок, а не дрянной развратник, он соня, а не безнравственный эгоист или эпикуреец времен распада. Он бессилен на добро, но он положительно неспособен к злему делу, чист духом, не извращен житейскими софизмами — и, несмотря на всю свою жизненную бесполезность, законно завладевает симпатиею всех окружающих его лиц, по-видимому отделенных от него целою бездною.

Весьма легко нападать на Обломова с точки зрения людей практических, а между тем отчего бы иногда нам не взглянуть на недостатки современных практических мудрецов, так презрительно толкающих ребенка — Обломова. Лениво зевающее дитя в физиологическом отношении, конечно, слабее и негоднее чиновника средних лет, подписывающего бумагу за бумагою, но у чиновника средних лет, без сомнения, есть геморрой и, может быть, другие болезни, которых дитя не имеет. Так и заспанный Обломов, уроженец заспанной и все-таки поэтической Обломовки, свободен от нравственных болезней, какими

страдает не один из практических людей, кидающих в него камнями. Он не имеет ничего общего с бесчисленной массой грешников нашего времени, самонадеянно берущихся за дела, к которым не имеют призвания. Он не заражен житейским развратом и на всякую вещь смотрит прямо, не считая нужным стесняться перед кем-нибудь или перед чем-нибудь в жизни. Он сам не способен ни к какой деятельности, усилия Андрея и Ольги к пробуждению его апатии остались без успеха, но из этого еще далеко не следует, чтоб другие люди при других условиях не могли подвинуть Обломова на мысль и благое дело. Ребенок по натуре и по условиям своего развития, Илья Ильич во многом оставил за собой чистоту и простоту ребенка, качества драгоценные во взрослом человеке, качества, которые сами по себе, посреди величайшей практической запутанности, часто открывают нам область правды и временами ставят неопытного, мечтательного чудака и выше предрассудков своего века, и выше целой толпы дельцов, его окружающих.

Попробуем подтвердить слова наши. Обломов, как живое лицо, достаточно полон для того, чтоб мы могли судить о нем в разных положениях, даже не замеченных его автором. По практической, по силе воли, по знанию жизни он далеко ниже своей Ольги и Штольца, людей хороших и современных; по инстинкту правды и теплоте своей натуры он их несомненно выше. В последние годы его жизни супруги Штольц навестили Илью Ильича, Ольга осталась в карете, Андрей вошел в известный нам домик с цепной собакой у калитки. Выйдя от своего друга, он только сказал жене: *все кончено* или что-то в этом роде и уехал, и Ольга уехала, хотя, без сомнения, с горем и слезами. В чем же заключался смысл этого безнадежного, отчаянного приговора? Илья Ильич женился на Пшеницыной (и прижил с этой необразованной женщиной ребенка). И вот причина, по которой кровная связь расторгнута, обломовщина признана переступившей все пределы! Ни Ольгу, ни ее мужа мы за это не виним: они подчинялись закону света и не без слез покинули друга. Но повернем медаль и на основании того, что дано нам поэтом, спросим себя: так ли бы поступил Обломов, если

б ему сказали, что Ольга сделала несчастную *mesalliance**, что его Андрей женился на кухарке и что оба они, вследствие того, прячутся от людей, к ним близких. Тысячу раз и с полной уверенностью скажем, что не так. Ни идеи отторжения от дорогих людей из-за причин светских, ни идеи о том, что есть на свете *mesalliances*, для Обломова не существует. Он бы не сказал слова вечной разлуки, и, ковыляя, пошел бы к добрым людям, и прилепился бы к ним, и привел бы к ним свою Агафью Матвеевну. И Андреева кухарка стала бы для него не чужою, и он дал бы новую пощечину Тарантьеву, если б тот стал издеваться над мужем Ольги. Отсталый и неповоротливый Илья Ильич в этом простом деле, конечно, поступил бы сообразнее с вечным законом любви и правды, нежели два человека из числа самых развитых в нашем обществе. И Штольц, и Ольга, без всякого сомнения, гуманны в своих идеях, без всякого сомнения, они знают силу добра и головами своими привязаны к участи меньших братьев, но стоило их другу связать свое существование с судьбой женщины из породы этих меньших братьев, и они оба, просвещенные люди, поспешили со слезами сказать: все кончено, все пропало – обломовщина, обломовщина!

Продолжим параллель нашу. Обломов умер, Андрюша его вместе с Обломовкой поступил под опеку Штольца и Ольги. Очень вероятно, что и Андрюше было у них хорошо, и обломовские мужики не терпели притеснений. Но Захар, оставшийся без призрения, лишь случайно был найден в числе нищих, но вдова Ильи Ильича не была приближена к друзьям ее мужа, но дети Агафьи Матвеевны, которых Обломов учил чистописанию и географии, дети, которых он не отделял от своего сына, остались на произвол своей матери, слишком привыкшей во всем отделять их от барчонка Андрюши. Ни житейский порядок, ни житейская правда этим нарушены не были, и супругов Штольц никакой закон не нашел бы виноватыми. Но Илья Ильич Обломов, смеем думать, иначе поступил бы с лицами и сиротами, которых присутствие когда-то услаждало собой жизнь

* мезальянс, неравный брак (фр.).

его Андрея и в особенности Ольги. Очень может быть, что он не сумел бы быть им полезным практически, но любви своей к ним не стал бы подразделять на разные степени. Без расчета и соображений он поделился бы с ними последним куском хлеба и, говоря метафорически, принял бы их всех равно под сень своего теплого халата. У кого сердце дальновиднее головы, тот может наделать множество глупостей, но в стремлениях своих все-таки останется горячее и либеральнее людей, запутанных сетями светской мудрости. Возьмем хоть поведение Штольца в ту пору, когда он жил где-то на Женевском озере, а Обломов чуть не повергнут был в нищету ковами друзей Тарантьева. Андрей Штолец, которому ничего не значило изъездить пол-Европы, человек со связями и деловой опытностью, не захотел даже найти в Петербурге дельца, который – за приличное вознаграждение согласился бы принять надзор над положением Обломова. А между тем и он и Ольга не могли не знать участи, грозившей их другу. Со своим практическим *laissez faire*, *laissez passer** они оба были вполне правы, и винить их никто не смеет. Кто в наше время осмеливается совать свой нос в дела самого близкого человека? Но предположите теперь, что до Ильи Ильича доходит слух о том, что Андрей и Ольга на краю нищеты, что они окружены врагами, грозящими их будущности. Трудно сказать, что бы совершил Обломов при этом известии, но кажется нам, что он не сказал бы самому себе: какое право имею я вмешиваться в дела лиц, когда-то мне дорогих и близких. Может быть, догадки наши покажутся иному читателю не совсем основательными, но такова наша точка зрения, и в искренности ее никто не имеет права сомневаться. Не за комические стороны, не за жалостную жизнь, не за проявления общих всем нам слабостей любим мы Илью Ильича Обломова. Он дорог нам как человек своего края и своего времени, как незлобный и нежный ребенок, способный, при иных обстоятельствах жизни и ином развитии, на дела истинной любви и милосердия. Он дорог нам как самостоятельная и чистая на-

* не вмешивайтесь в чужие дела (фр.).

тура, вполне независимая от той схоластико-моральной истасканности, что пятнает собою огромное большинство людей, его презирающих. Он дорог нам по истине, какую проникнуто все его создание, по тысяче корней, которыми поэт-художник связал его с нашей родной почвою. И наконец, он любезен нам как чужак, который в нашу эпоху себялюбия, ухищрений и неправды мирно покончил свой век, не обидевши ни одного человека, не обманувши ни одного человека и не научивши ни одного человека чему-нибудь скверному.

Примечания

Печатается по: Дружинин А. В. Литературная критика. М.: Сов. Россия, 1983. (Б-ка рус. критики).